

Михаил
РУМЕР-ЗАРАЕВ

ХОЖДЕНИЕ ПО РУИНАМ

ПОРТРЕТЫ ТРЕХ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ
НА ФОНЕ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ



Михаил Румер-Зараев

**Хождение по руинам. Портреты
трех сельских районов на
фоне новейшей истории**

«Нестор-История»

2020

УДК 316.34
ББК 84(2Рос=Рус)

Румер-Зараев М. З.

Хождение по руинам. Портреты трех сельских районов на фоне новейшей истории / М. З. Румер-Зараев — «Нестор-История», 2020

ISBN 978-5-4469-1731-0

В этой книге собраны портреты трех сельских районов, расположенных в Ярославской, Самарской и Псковской областях. Автор в течение многих лет вел наблюдение за их жизнью. В результате получилось документальное повествование о «районных буднях», дающее представление о социальных и экономических процессах, идущих в российской деревне в последние десятилетия. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 316.34
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-4469-1731-0

© Румер-Зараев М. З., 2020
© Нестор-История, 2020

Содержание

Предисловие	6
Глава 1. Любим	11
Река жизни	11
География	12
Заклятье	13
Двоевидение	15
Мясная электричка	17
Дорога	18
Дальше ехать некуда	21
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Михаил Залманович Румер-Зараев
Хождение по руинам. Портреты
трех сельских районов на
фоне новейшей истории

Памяти Юрия Черниченко

© М. З. Румер-Зараев, 2020

© Т. Г. Нефедова, послесловие, 2020

Предисловие

В жаркие июльские дни 2010 года, когда и земля, и люди по всей России изнемогали от неслыханной засухи, умер Юрий Дмитриевич Черниченко, один из самых острых и ярких публицистов последних десятилетий советской власти. Его называли великим раздражителем, ибо аграрные очерки, публиковавшиеся им в толстых журналах, его телевизионный «Сельский час» вызывали отчетливое неприятие Системы и ее сторонников.

Я называл его «начальником цеха», ибо считал лидером отряда сельских публицистов, которому принадлежал и сам. И на книжке очерков, которую он же доброжелательно отрецензировал для издательства «Советский писатель», так и надписал – «начальнику цеха от одного из его работников».

В некрологические черниченковские дни Анатолий Стреляный, тогда один из наиболее ярких представителей того же цеха, вспомнил, как, узнав от Юрия Дмитриевича о смерти Брежнева, приехал к нему и застал там небольшую кампанию близких им по духу журналистов.

«И что мы начали делать после первой или второй рюмки? – рассказывает Стреляный. – Юра Черниченко взял свою толстую тетрадь, он каждый день ее заполнял, это огромные, толстые тетради, у него, наверное, целая комната ими забита, и стал записывать прогнозы на будущее каждого из нас, кто как видит будущее. Потому что годы брежневщины позади, как корова языком слизала. Мы, конечно, не сомневались, что советская власть будет вечно, но какие-то варианты каждый предсказывал: вправо повернем, влево, к демократии, к фашизму и т. д. Сначала я их всех выслушал и сказал: „Ребята, не будет ни того, ни другого, ни третьего, ни пятого варианта, а будет неведомая нам, причудливая мешанина реформ, полуреформ, переверотов, черт знает чего!“».

Все мы тогда занимались прогнозами. Помню, как в середине 80-х гг. в Москве, в редакции журнала «Октябрь», собралась небольшая группа литераторов. В редакцию приехал консультант ЦК КПСС Владимир Федорович Башмачников, чью статью на сельские темы журнал только что опубликовал. И разговор шел о будущем российского сельского хозяйства в случае демократических перемен в стране.

Будущее это казалось нам тогда ясным и прямым, как взлетная полоса аэродрома. Конечно, землю – крестьянам. Но не жить же им парцеллярным (парцелла – мелкий земельный участок, термин тогда модный, заимствованный у Маркса) хозяйством. Дальше они сами будут добровольно объединяться по функциональному технологическому принципу – сбытовые, снабженческие, кредитные кооперативы.

Не нами это придумано, мировой опыт имеется, европейские фермеры все кооперацией повязаны. Значит, не колхозы, а сеть сельскохозяйственных кооперативов цивилизованных фермеров.

Я впоследствии не раз вспоминал этот разговор, приезжая в первой половине 90-х гг. в так называемые «свои», то есть много лет наблюдаемые мною районы и примеряя к увиденному ту вымечтанную мерку.

– Ты что, больной? – говорили старые знакомцы. – Ну какой нормальный крестьянин полезет в это фермерство? Разве что юрод какой ради идеи или кто-нибудь из местного начальства, чтобы по дешевке огрести кредиты да на себя технику перевести. Посмотри, что с первыми-то произошло, кто поверил этой мечте. Как бились и мыкались они, продавая последнее из нажитого, как обворовывали их, жгли и материли, как выгоняло начальство из кабинетов, как горбились они круглосуточно, а потом всё по ветру шло. Когда никакой закон не действует, а только власть беспардонная, когда деньги скачут как сумасшедшие, и кредит тебе, если и дадут, то под заоблачные проценты, когда кругом злоба и зависть, какое тебе фермерство?

Умный-то крестьянин понимает: сиди себе тихо на своем приусадебном участке, который всегда прокормит, уворовывай остатки колхозного добра и жди лучших времен.

Весной 1991 года, когда советской власти оставалось жить считанные месяцы, те же мысли, что воодушевляли нас в том редакционном разговоре, повторяли на своем съезде делегаты только что созданной Черниченко крестьянской партии. Если убрать экономические подпорки государства, утверждали они, – дотации на мясо, молоко, то слабые колхозы просто развалятся. А сильные должны стать кооперативами свободных земледельцев. Это были голоса зарождающегося российского фермерства.

Зал съезда партии украшал трехцветный российский флаг. И лозунг – желтые буквы на зеленой ткани: «За свободный труд на свободной земле». Среди делегатов нередко встречались костистые, худые люди с легкой сумасшедшинкой в глазах. Некое юродство было в их манере поведения. И думалось, что только человек, мягко говоря, нестандартного мышления, а вернее сказать, сельский диссидент пойдет нынче в фермеры. Это ж лбом стену прошибать. О том, какова эта стена говорили с трибуны. Делегат от Липецкой области, бывший сельский учитель, а ныне пчеловод рассказывал, как пытался он у себя на селе собрать ячейку крестьянской партии. В какое бешенство приходили местные начальники. Закрывали двери красного уголка, гнали из кузни на улицу, грозили, увещевали, чтоб отказались от такого невиданного в России дела.

Черниченко, слушая такие речи, накалялся гневом. В новые времена он стал народным депутатом последнего союзного парламента, а затем – сенатором, членом Верхней палаты первого российского парламента. Партия – крестьянская, фермерская – его любимое детище и оружие в борьбе с председательским корпусом, который он годами защищал и пером, и телекамерой. А теперь, объединившись в аграрную партию, этот корпус стал главным охранителем старых порядков на селе и противником фермерского движения.

Свою борьбу за новую деревню, против «агроулага» (термин, именно им запущенный в обиход) Черниченко вел с присущим ему общественным темпераментом и с парламентской трибуны, и с журнально-газетных страниц, превращая каждый этап этой борьбы в яркое театральное действо.

Стоило чувашскому председателю Айсину, разгневанному разговорами о необходимости передать крестьянам землю, прислать депутату Черниченко телеграмму с предложением выделить ему землю – посмотрим, мол, что ты, городской писака, с ней будешь делать, как публицист разразился в популярнейшем тогда журнале «Огонек» очерком «Красный остров».

Это был один из последних его очерков из череды тех, что так звонко отзывались в российской читающей публике. «Ржаной хлеб», «Русская пшеница», «Про картошку», «Комбайн косит и молотит» – все эти его произведения словно нож в масло вонзались в толщу общественной мысли, показывая, какая драма идей, драма народной жизни заключена в современном селе.

На той же ниве, каждый своими художественными средствами, со своим видением мира, трудились и другие писатели, начиная с того, с чьим именем связано возрождение жанра деревенского очерка – с Валентина Овечкина. Это его «Районные будни», публиковавшиеся в первой половине 50-х гг. прошлого века, были первой, еще робкой попыткой правдивого разговора о деревенском житье-бытье. А потом последовали знаменитые «Рычаги» Александра Яшина, «Живой» Бориса Можаева, очерки Бориса Екимова, Анатолия Стреляного, Анатолия Ивашенко... Они публиковались с преодолением цековских цензурных заслонов, и каждая такая публикация была гражданским поступком, политическим деянием.

Но вот наступили 90-е годы, деревня переживала период распада колхозов, разрыва устоявшихся хозяйственных и социальных связей, а крестьянин получил экономическую свободу, с которой он не знал, что делать. Процессы на селе идут мучительные, если не сказать трагические, а сельский публицист молчит, и сам его жанр как-то вдруг исчезает со страниц как

журнальных, так и книжных. И ведь никаких тебе препон – ни ЦК, ни ЧК не ограничивает свободу творчества, свободу анализа: пиши – не хочу. Так нет – молчание, словно бы не только перья исчезли, но и сам материк сельский, где обитает около трети населения российского, вымер. И молчание это продолжалось и в 90-е, и в нулевые годы.

Почему же нынешнее поколение публицистов обходит сельскую тему? Как-то в редакции журнала «Дружба народов», где я публиковал очерки по материалам поездок в «свой» глубинные сельские районы, я посетовал на известного рода творческое одиночество. В те же 80-е годы я ощущал себя в среде единомышленников – журналистов и литераторов, основательно изучающих деревню, систематически пишущих о ней и имеющих обратную связь. Иногда журналы и издательства устраивали встречи с читателями, которые давали незабываемое ощущение контакта с аудиторией. Сейчас же чувствуешь себя в изоляции, словно бы делаешь дело не особенно нужное – писатель пописывает, читатель почитывает.

В ответ мне было высказано соображение, что о прежних временах вспоминать бессмысленно. Тогда и журнал, и издательство, и Союз писателей могли отправить литератора в хорошо оплачиваемую командировку, а потом еще и заплатить очень недурной гонорар, на который можно было жить. Нынче же журнал беден, денег на командировку у него нет, книжному издательству эта тема, как правило, не интересна, прежде всего по экономическим соображениям. Вот и тянется журналистская молодежь к гламурному журналу или хорошо оплачиваемой газете, которые тебе тему закажут иной раз не без «желтизны», но, во всяком случае, привлекающую читателя.

Это мы, старики можем себе позволить за свой счет отправиться в «свой» район, пожить там у знакомого крестьянина, поковыряться в местных бедах, выискивая их истоки, сопоставляя «вчера» и «сегодня», а потом месяц сидеть над литературным очерком, за который тебе заплатят, по нынешним меркам, гроши. Ты беден, журнал твой беден, но зато оба вы свободны думать и писать всё, что считаете нужным.

Получается, что причиной исчезновения сельского очерка является отсутствие общественного запроса. Был бы спрос – было бы и предложение. Но почему исчез этот запрос? Почему интеллигент 70–80-х годов взахлеб читал на страницах толстых журналов очерки, подчас набитые цифровыми выкладками и агротехническими тонкостями, передавая их из рук в руки и обсуждая во время кухонных застолий, а сейчас воротит нос от такого очерка, даже если он изредка и появится в журнале.

Ответов на этот вопрос может быть несколько. И, прежде всего, такой: сейчас иное отношение к литературе, она перестала быть формой действия, методом возбуждения общественного сознания. Есть роман – для одних Маринина, для других Пелевин, Улицкая, которые отвечают интеллектуальным, эстетическим запросам или потребности в занимательном чтиве, есть Интернет, который дает массив информации. Наконец, есть телевидение. Литература как форма действия не нужна. Как форма познания действительности – пожалуй.

Имеется и другой вариант ответа на наш вопрос. Ослаблен интерес к столь далекой от горожанина сфере жизни, как село. Оно предстает, с одной стороны, живописной картинкой за стеклом автомобиля, а с другой – черной бездной, где доживают свой век те, кто не смогли или не успели уйти в нормальную городскую жизнь. Оно как адский котел, приоткрыв крышку которого прекраснодушный наблюдатель спешит закрыть ее, ощутив испарения вымирания, пьянства, нищеты. «Я часто езжу по России, – восклицает иногда с телеэкрана депутат Госдумы или иной общественный деятель, – если б вы знали, что представляет собой современная российская деревня, какой это ужас!»

Но если пренебречь подобными восклицаниями, то приходится констатировать, что корневая патриархальная связь с деревней, присущая российскому городу еще лет тридцать-сорок назад, из поколения в поколение ослабевает и становится эфемерной для родившегося в городе обитателя современной компьютерной цивилизации, усвоившего психологию дачника. Рож-

денный от человека, который много лет брал отпуск для того, чтобы вскопать огород у матери в деревне и запасти ей сена для коровы, он мечтает о пригородном коттедже в тенистом саду и иномарке, на которой можно за полчаса добраться до офиса.

Его отец ощущал свою связь с селом не только через родительское подворье, которое подкармливало его домашними харчами, но и у прилавка магазина или рынка, который худо-бедно, но как-то пополнялся колхозной продукцией. Теперь же осознается другая связь – между проданной нефтью (цена на нее волнует даже домохозяйку) и импортными мясными и молочными продуктами. Что там на селе – это уже из области политической риторики, прилавки, что бы ни было, полны. Ну а то, что поголовье скота в стране дошло до небывало низкого уровня, что идет массовая люмпенизация крестьянства, сопровождаемая повальным пьянством, что в условиях безработицы сельскую семью спасает лишь личное подсобное хозяйство, – так кого это волнует?

Где-то в начале 90-х Виталий Алексеевич Коротич, который тогда преподавал в Бостонском университете, попросил меня проконсультировать своего коллегу – американского профессора, писавшего книгу о сельском хозяйстве России. При этом уже к тому времени бывший редактор «Огонька», с которым я проработал несколько лет, пояснил мне, что в Штатах нет сельской публицистики в нашем понимании этого слова – литературности, политического темперамента, сочетания экономического анализа и социального мышления – всего того, что идет в России от народнической традиции Глеба Успенского. Там исследованиями сельской жизни занимаются не писатели, а ученые, университетские профессора. Собственно, и у нас село было объектом исследований не только литераторов, но и экономистов, социологов, историков. Но, во-первых, каждый из них изучал этот объект с позиций своей науки, а во-вторых, был ограничен идеологическим диктатом партии, непреложными марксистскими догмами, вызывающими недоумение у всякого объективно мыслящего ученого.

Надо сказать, что к этому времени в Москве с легкой руки профессора Манчестерского университета, ученого с международным именем Теодора Шанина уже начала формироваться новая для России наука – крестьяноведение. В содружестве с историком Виктором Петровичем Даниловым, социологом Татьяной Ивановной Заславской британский ученый привлек к этой комплексной дисциплине немалый отряд специалистов.

В середине 90-х гг. начала работать Московская высшая школа социальных и экономических наук, так называемая «Шанинка», а при ней центр крестьяноведения и сельских реформ, стали проводиться полевые исследования, проходить научные конференции и семинары, выходить ученые записки Центра, издаваться работы классиков мирового крестьяноведения – Джеймса Скотта и самого Шанина, книги интереснейшего исследователя современной русской деревни Татьяны Григорьевны Нефедовой... Словом, научная жизнь бурлила, вызывая ироническое замечание одного из участников этого процесса: «Село умирает, а наука о селе цветет, как никогда».

Но это именно наука, которая делается учеными на деньги различных фондов и университетов, зачастую зарубежных. И когда я снимаю с полки книжку Нефедовой «Неизвестное сельское хозяйство, или Зачем нужна корова?», которая являет собой образец сельской публицистики, и вижу, что она написана в соавторстве с Джудит Пэллот, а рядом с грифом Российского академического института географии, где работает Нефедова, стоит гриф Оксфордского университета, я понимаю, что деньги на это фундаментальное исследование, на поездки по России, на социологические опросы нашлись, скорее всего, в Оксфорде, а не у нищего института географии.

А попробуйте открыть сборники «Крестьяноведение», издаваемые «Шанинкой» и набитые глубокими аналитическими работами. В конце вы найдете рецензии на новые книги о российском селе самой разной проблематики – социологической, исторической, экономической. Там наряду с русскими именами авторов – американские, японские, английские фамилии. Это,

конечно, хорошо, что российское крестьяноведение, едва родившись, вошло в мировую науку. Но нельзя не отметить и другое: западные ученые находят средства на исследования о нашем селе, а российские часто пользуются западными грантами.

Книжка Нефедовой имеет тираж 600 экземпляров, сборник «Крестьяноведение» – 500. Для научного труда, для ученых записок – так и положено. Возьмите монографии по физике, химии, геологии – такие же тиражи. Но ведь в этих монографиях трактуются проблемы, касающиеся узкого круга специалистов. А здесь?

Другая книжка Нефедовой называется «Сельская Россия на перепутье». Открыв наудачу пятый сборник «Крестьяноведения», наткнулся на заголовки статей: «Одинокие фермеры», «Сельские „миры“ России». «Новые инвесторы в аграрной сфере». Да в прежние времена статьи и книжки с такими названиями издавались бы тиражами в десятки, сотни тысяч экземпляров и раскупались бы, как издавались, раскупались и обсуждались статьи и книжки Черниченко. А теперь эта тематика становится достоянием академической науки, объектом потребления нескольких сотен специалистов.

И снова тот же вопрос, который можно счесть риторическим: что же происходит? нет запроса? есть общественная уверенность в том, что нефть прокормит? Но ведь речь идет не только о колбасе. Вымирание села, заброс пашни, опустынивание целых районов ведет к деградации национального расселения. Без сельской формы расселения нация становится ущербной. И недаром даже Израиль, государство, в значительной степени созданное иммигрантами-горожанами, активно реализовывал идею кибуцев – сельских поселений. Сионистские идеологи при этом преследовали не только цели продовольственной безопасности. Они понимали: надо, чтобы земли были освоены, чтобы люди жили не только в городах, лишь тогда национальное существование полноценно. Но это Израиль с его крохотной территорией, а что же говорить о России, занимающей около 13 % земной суши и производящей на ней чуть более 2,5 % общемирового валового продукта? Может быть, освоение своей территории и является национальной задачей? И сельская публицистика в решении этой задачи может служить своего рода набатным колоколом.

Но он замер, этот колокол, перестал звонить, обозначая тем самым не столько время наше – сколько безвременье.

Глава 1. Любим

Река жизни

Что заставляет меня из года в год ездить по глухим русским селам, по знакомым за долгие годы работы в аграрной публицистике районам, ворошить прошлое, сопоставлять его с настоящим и мучительно, с тревогой вглядываться в будущее российской деревни? Может быть, ностальгическое стремление дважды войти в одну реку? Порой мне кажется, что время в тех местах остановилось. Река жизни текла, иногда меняя направление потока, вспениваясь водоворотом событий – трагических или радостных, а потом замерла, течение прекратилось, и тусклая мертвая вода отражает медленный ход облаков.

География

Стою на взгорке, покрытом свежей майской травой. Ниже – заболоченная пойма Обноры, впадающей здесь в Кострому, а та еще ниже – в Волгу. На другой стороне реки уже не Ярославская, а Костромская область. А выше, несколько севернее, – вологодские земли.

Русь северная, верхневолжская... Четыре с половиной века назад здесь, на стыке ярославских, костромских, вологодских земель, строились на пути набегов волжских татар крепостцы-городки – Балахна, Темников, Пронск, Буй-город, наконец, Любим – центр района, на окраине которого я и нахожусь.

Заклятье

Позади – руины старинного монастыря, основанного при Грозном и названного в честь преподобного Геннадия Любимоградского – ободранные купола разрушенного храма, тускло-кирпичные стены каких-то строений.

Помню как в первый мой приезд, в середине восьмидесятых, меня поразила легенда, связанная с этим монастырем. Местные краеведы писали в книжке «Любим» следующее: «Зная по опыту жестокие крепостнические порядки монастырей, крестьянские массы враждебно встречали их основателей. Так, Геннадий Любимоградский, пытавшийся обосноваться возле Любима, был любимцами изгнан и, как гласит молва, „святой отец“ пожелал им на веки вечные “быть ни бедными, ни богатыми, ни сытыми, ни голодными”. Еще хорошо, что “святого” не убили, как это делали в других местах. Тем не менее в крае на берегах среднего и нижнего течения Обноры было построено семь монастырей».

Прежде чем отыскать в книжке эту легенду, я услышал ее от старой доярки, вышедшей из полузаброшенного коровника, расположенного по соседству с монастырскими развалинами на окраине деревни Слобода.

Как накладывалось это заклатье на окружавшие меня поля, засеянные чахлыми хлебами, на заболачиваемые луга, на смиренных пожилых крестьян, обитавших в полузаброшенных деревнях, наконец, на пустые тогда прилавки городов – «ни бедными, ни богатыми, ни сытыми, ни голодными».

«Эли, Эли! Лама савахвани! Боже мой, Боже мой! Для чего ты меня оставил?» – вопрошал Иисус на кресте.

Чем провинились мы перед судьбой или иными высшими силами, что запустели наши земли, что так трагично и туманно будущее?

Почему другие народы живут в нормальных человеческих заботах и радостях, достойных современных людей, трудятся, богатеют, ездят по миру, веселые и любознательные... Нам-то за что все это – пропитанная кровью и страхом история, где войны сменялись волнами террора, а на смену нравственному и политическому анабиозу, в котором общество находилось в последние советские времена, пришел измучивший, издегавший нервы всесторонний кризис.

Так страдательно думалось в первый мой приезд. И вот двадцать лет спустя стою на том же месте. Тот же взгорок, болотистая пойма Обноры и монастырские руины за спиной. Тишина заброшенных русских полей, теплый ветер шелестит в листве берез. Anno domini – лето господне 2005 года.

Впрочем, на обширном затравеневшем монастырском дворе появилась часовня, а рядом – жилое строение, у которого ковыряется в земле монах в скуфейке и подряснике. Он поднимает молодое, обросшее негустой бородой лицо и с профессиональной пастырской приветливостью отвечает на мои вопросы. Будут ли восстанавливать монастырь? В Московской патриархии есть такое намерение, но дело нескорое, средств требующее немалых, сбудется ли, нет ли, сказать трудно. А пока вот часовня и двое монахов – он, отец Геннадий (уж не в честь ли преподобного Геннадия принял этот, как оказалось, московский молодой человек свое монашеское имя?) и товарищ его. Нет, не в одиночестве, не в заброшенности они здесь. Паломники ходят, местные крестьяне... И словно в подтверждение его слов появляются две пожилые крестьянки в чистых платочках, с узелками. Увидев, что отец Геннадий разговаривает с чужим человеком, остановились поодаль, тактично выжидая, когда наша беседа кончится.

Да, да, продолжал монах, некогда здесь было немало древних монастырей. И этот вот построен в XVI веке на средства боголюбивого государя Ивана Грозного. Увидев на моем лице некоторое сомнение по поводу боголюбия грозного царя, он заговорил с неожиданной горяч-

ностью, как говорят о человеке знакомом и близком. Об этом государе много лишнего рассказывают, а ведь он богомолен был и так много для укрепления церкви делал.

Я подумал, что следы деяний царственного боголюбца разбросаны в названиях местных деревень – Починок Малютин, где по преданию чинили сломавшуюся карету Малюты Скуратова, деревни Вешалка, Подошвенка, где опричники вешали кого за шею, а кого и за ноги.

После разгрома Ливонского ордена Грозный отдал Любим под поселение пленного магистра. Стало быть, здесь в крошечном ярославском городке и закончилась буйная история ливонских рыцарей, так прочно переплетавшаяся с перипетиями российского Средневековья.

Но и более давние войны ощутимы в топонимике любимских сел. Считается, что в Закобьякине располагалась ставка хана Кобяка, в Баскакове – центр татарского наместничества, в Нелюдове также жили азиатские завоеватели – нелюди.

Сейчас, в скитаниях по этим запущенным, заросшим сурепицей полям, по вымирающим лесным поселкам трудно себе представить, как густо были некогда заселены эти места. В конце XVIII века в Любимском уезде насчитывалось 56 тысяч человек, живших в восьмистах мелких деревнях. Нынче в районе насчитывается 13 тысяч, больше половины которых – в райцентре, а остальные доживают свой век в полусотне деревень.

Двоевидение

Первый раз я попал в Ярославскую область в юности, в середине пятидесятых годов, будучи студентом землеустроительного института.

Городской мальчик, выросший на окраине Москвы и проникнутый гуманитарными интересами, я оказался в том институте не совсем по своей воле. Как сына «врага народа» меня ни в один порядочный вуз не брали. Этот же, хотя и старейший в стране, основанный при Екатерине и называвшийся некогда межевым, считался провинциальным, туда шли деревенские ребята, хуже, чем горожане, подготовленные школой. Я легко сдал вступительные экзамены, набрав максимальный балл, и был зачислен на геодезический факультет.

Учеба наполовину состояла из производственных практик, длившихся с весны до осени. Небольшими группами мы вели на селе топографические съемки, создавая картографическое обоснование для будущих землеустроительных работ.

Так летом 1956 года я оказался в Ярославской области. Наш студенческий отряд прокладывал геодезический ход от Рыбинска к реке Ухре. При таких геодезических работах требовался астрономический контроль. И вместе со студенткой Ниной – крепкой добродушной деревенской девушкой – мы составляли отдельно действующее звено астрономов.

Трудно себе представить другую работу, которая так воздействовала бы на воображение городского юноши, грешившего к тому же первыми литературными опытами. Увязав в телеге треногу, ящик с теодолитом и наши тощие рюкзаки, мы передвигались на лошади от деревни к деревне, я впереди с вожжами, моя напарница сзади, восседая на ящике.

На сельских околицах мы находили обожженные столбы, врытые в землю студенческой бригадой, прокладывавшей ход. Дождавшись ночи и ясного звездного неба, я ставил зажженный фонарик на одном столбе и возвращался по пыльной смутно белеющей в темноте дороге к другому. Там уже хлопотала у теодолита Нина, расставляя треногу, центрируя массивный прибор. Надо было найти в окуляре Полярную, сориентировавшись сперва по Марсу.

Небольшая неяркая звездочка входила в поле зрения трубы, проплывала через скрещение визирных нитей в миг, фиксируемый нами на большом медном секундомере. Затем труба направлялась на лампочку фонарика, зыбко мерцавшую в лесной тьме. Угол между двумя светящимися точками – небесной и земной – и позволял проверять точность измерений наших товарищей-студентов.

Все время, остававшееся от ночных наблюдений и переездов, я писал рассказы, читал, а в дождливую погоду отправлялся в Рыбинск, в библиотеку, хранившую массу старых книг, унаследованных, как говорили, от местных купцов. Эти купцы, судя по всему, были людьми довольно образованными, ибо нигде в провинциальных книжных собраниях я не видал столько исследований французской живописи, открывших мне барбизонцев, импрессионистов, постимпрессионистов и других более поздних представителей западного модерна.

Мои дневники того времени заполнены рассуждениями о музыке, поэзии, живописи. И все окружавшее виделось через призму книжного романтического мировосприятия – блеклое ярославское небо, холодные болотные ручьи, через которые мы переправлялись на лошади, расползавшиеся при первом дожде дороги, наконец, деревни, где мы останавливались на ночлег.

А село словно опоминалось от сталинского морока – выбитое войной, замученное поборами – чуть свободнее хозяйствовало на подворье, помаленьку строилось, получало кое-что на трудодни.

Помню, как старуха-хозяйка, впервые за свою колхозную жизнь получив на трудодни немного муки, угощала нас с Ниной теплыми лепешками и молоком. Угощала и плакала, глядя на нас – здоровых, веселых, молодых. О чем она плакала? О погибшем на войне сыне;

о порушенном некогда в начале тридцатых справном семейном хозяйстве, следы которого были видны и в размерах просторного пятистенка, и в обширном полуразрушенном подворье; о своей уходящей скудной жизни, прошедшей в непосильном труде? О многом может плакать одинокая деревенская старуха.

Конечно же, я видел все это, сострадая и разделяя драму народной жизни, не отделяя ее от себя. Ведь и у меня было нищее послевоенное существование на городской окраине, репрессированный отец, замученная непосильным трудом мать, одна воспитывавшая трех детей... Город нес свой крест. Но все виденное, пережитое заслонялось, сглаживалось в юношеском сознании романтическим флером, книжной образованностью и тем пиром мировой культуры, который открывался моему поколению после запретов на все мало-мальски яркое, самобытное, выходящее за рамки идеологического догмата.

Я жил как бы в двух несоприкасающихся плоскостях – реальной, житейской, где было мое собственное скудное бытие, эти нищие деревни, и в мире книжном, полном молодых надежд и страстей.

Казалось, что подобная несоприкасаемость двух измерений, двух видений мира была свойственна и общественному сознанию. На страницах газет разворачивался совсем иной мир – яркий, красочный, нарядный. Летом 1956 года мы любовались портретами приехавших в Москву иранского шаха с супругой. Восточная красавица Сорейя и сухощавый, подтянутый в своей военной форме Мохаммед Реза Пехлеви. Их принимали Ворошилов и Булганин.

«Правда» была заполнена победными рапортами – то Молдавия сообщала, что за полгода выполнила план по животноводству, то целина радовала своим миллиардом пудов зерна. И Хрущев в вышитой косоворотке, подпоясанной ремешком, стоял, подняв в ораторском азарте руку, на трибуне в Алма-Ате. Прямо-таки ностальгические ветры обвевают меня, старика, под шелест газетных страниц.

Но пора выбирать в нашем повествовании из событий более чем полувековой давности во времена перестроечные.

Мясная электричка

К середине восьмидесятых годов Ярославль слыл одним из самых голодных городов России. Впрочем, зря я, наверное, так говорю. Могло возопить Поволжье, Урал. «Вы что... У ярославцев же Москва под боком, электричка, наверное, ходит». Верно, ходила электричка.

Была она не всегда. Помнится, в молодости ездил я на обычных паровых поездах. Забьешься на третью полку (сейчас и не пойму – как там помещался, чем дышал), лежишь, слушаешь обычные крестьянские разговоры – о погоде, о ценах, всякие деревенские истории – да и задремлешь.

Когда пустили электричку, уж и не упомню. В шестидесятые – семидесятые годы многие города центра России стали соединяться со столицей поездами с электрической тягой. Секретари обкомов из всех сил, словно соревнуясь друг с другом, пробивали этот вид сообщения, усматривая в том свою первоочередную заботу о подопечных им жителях. Продовольственные программы сбудутся ли, нет ли, а Москву без харчей не оставят, стало быть, и окрестные города не пропадут.

Ярославский поезд был на особицу. Не жесткие деревянные лавки с катающимися под ними пустыми бутылками, да проплеванный узкий проход, а мягкие самолетного типа кресла, чистота, сдержанные, еле слышные разговоры хорошо одетых горожан. Только кровавые потеки на полу из чемоданов и рюкзаков говорили об истинном предназначении поезда, который так и называли в городе «мясным».

Невольно, бывало, вздохнешь: область, которая вошла в историю отечественного сельского хозяйства как родина знаменитой романовской овцы, ярославской породы крупного рогатого скота и брейтовской свиньи, область, всегда считавшаяся одним из заповедных краев российского животноводства, где на вольных лугах и щедрых сенокосах откармливались прекрасные стада, возит мясо и сыр из Москвы.

Дорога

В те годы мои ярославские заботы делил со мной собкор газеты «Сельская жизнь», где и я тогда работал, Борис Васильевич Свищев. За прожитые полвека его крепко помотало по стране, был ветеринарным врачом на Сахалине, партийным работником на Урале, представлял газету в Костроме, а потом перебрался в Ярославль. Некий ностальгический комплекс, а по моим наблюдениям такой комплекс часто свойственен наскитавшимся людям, он испытывал к Челябинску, где прошли его молодые годы. Там и люди интереснее, и хозяйства крепче, и жить здоровее. Поэтому во многие наши разговоры и споры часто вставлялся аргумент: «А у нас в Челябинске...». Эта идеализация малой родины трогательно дополняла его облик.

В один из дней командировки, а дело происходило, напомним, летом 1987 года, отправились мы со Свищевым на северо-восток области, в Любимский район, относящийся к числу «лежачих». Поехали мы туда, однако, не для того, чтобы лишний раз оплакивать вымирающую деревню. Хотелось потолковать о том, что же делать с такими нищими колхозами. Соответственно и вопросы подобные задавать мы решили в самом глухоманном углу района – в деревне Слобода, у которой находятся развалины монастыря, описанные в начале нашего повествования.

Надо сказать, что и в старину любимские земли кормили своих обитателей не густо, здесь издавна процветали ремесла и отходничество. В конце девятнадцатого века до половины мужского населения работали по найму в крупных городах, больше всего в Петербурге. Ну а теперь каждый год население района сокращается, примерно, на сотни человек. Старики – на тот свет, молодежь – в город. Так что же, выходит, лет через тридцать здесь пустыня? Неужели мы присутствуем при финале драматической и измеряемой многими столетиями истории крестьянского материка? Не может быть, чтоб не нашелся выход из тупика, в который загнала всех нас история.

– Ждет нас Кудряшов, первый секретарь райкома, завтра, – позвонил мне в гостиницу Свищев. – С ним и поедем.

– Резиновые сапоги-то у вас есть? – спросил Кудряшов, когда мы в девять утра вошли к нему в кабинет. – Ну не беда. У меня дома пар пять.

Съездили за сапогами, переобулись. Потом отправились за другой машиной, чтоб было кому дергать, когда застрянем. Собирались как в экспедицию. Впереди мы с худеньким кудряшовским Сережей за рулем, за нами уазик районной ветеринарной службы с шофером постарше. В нашем УАЗе сзади гремели пила, лопаты, топоры – полный шанцевый инструмент.

Тронулись наконец. До железнодорожного переезда – асфальт. Можно поговорить. Вот когда я разгляжу как следует нашего хозяина.

Ему под пятьдесят. Лысеющий, с крупным обветренным лицом, с грубовато громкоголосым костромским (он родился в костромской деревне) выговором – «Быва-ат», «Наревисси» (в смысле наревешься). Никакой раздобрелости, оплывшей чиновной стати – поджарый, крепкий мужик (дешевый коричневый плащ и сапоги – нормальная его одежда), в характере чувствуется азартность, в трудный момент садится за руль – штурмануть крутой пригорок.

По образованию инженер-механик. В районе – четверть века, то есть почти всю послеинститутскую жизнь. Был начальником сельхозтехники, председателем райисполкома. При всем том провинциализм в нем не ощутим. Со вниманием и доброжелательством вслушивается в наши со Свищевым диалоги о самостоятельном инициативном крестьянине, который на подряде или аренде (о собственности на землю тогда, в 1987 году, если и говорили, то вполголоса) растит скот, пашет землю и свободно кооперируется с другими такими же крестьянами в закупке техники, кредите, сбыте продукции. Вместе с нами размышляет о том, как переки-

нуть мостки к таким формам хозяйствования от нынешних колхозных с их зажатостью всякой инициативы и привычным для всех нас административным диктатом.

А уж ему-то, сельскому партийному секретарю, этот диктат ведом. Каких только указаний не приходилось выполнять за четверть века, каких хозяйственных кампаний не пережил район. То в этом краю великолепных трав велено расширять зерновой клин, да как – до шестидесяти пяти процентов пашни пускать под зерновые. Стране нужен хлеб! Но здесь он всегда родился неважно. Вот и приходилось распахивать знаменитые местные клевера...

Или кампания по сооружению крупных животноводческих комплексов. При бездорожье-то окрестном стягивать скот под одну крышу. Как корма подвозить, как людям при мелком расселении на работу ходить? Хочешь не хочешь – выполняй.

Мелиорация... В год двести – триста гектаров осушали, а пятьсот – кустарником зарастало. Улучшать бы живые поля, а тут на новые – мощную технику бросают, оно так выгоднее мелиораторам – больше средств можно освоить. И зарывали те средства в землю. На дороги бы их пустить, какая польза людям бы выходила.

Дороги это непрекращающаяся боль, вечная мука. Зимой – с декабря по март – еще жизнь. А потом начинается... По два гусеничных трактора тянут тележку с бидонами молока. Раньше вертолетами возили да уж больно дорого. И погода у них вечно нелетная. Отказались от вертолетов.

Но вот кончается асфальт, а вместе с ним и разговоры, ибо предельная физическая и нервная собранность требуется не только от водителя, но и от пассажиров – так швыряют нас из угла в угол эти огромные разбитые тракторами колеи, пласты размокшей глины, из которых, кажется, никакая машина не выберется, трактор не вывезет, а наш уазик вывозит – ревет, буксует, бьется, но вывозит. «Нива», говорят, на таких дорогах недели не выдерживает. Спасибо создателям УАЗа – экую безотказную машину построили.

Нырять в огромные лужи – коричневая вода шумит, как морской прибой, расступаясь под колесами. Начались лесные объезды – мокрые еловые ветви хлещут по ветровому стеклу, заставляя инстинктивно пригибаться. Едем по узкой тропе, виляющей среди сосняка, переправляемся через ручьи, буксуем в болотах.

– Это еще ничего, – посмеивается Кудряшов. – Вот в «Заре коммунизма» – там действительно дорога. Только пешком... Вчера председатель райисполкома ушел туда собрание проводить. А кого пошлешь – девчонок-инструкторов? Я, когда управлял сельхозтехникой, к «Рассвету» был прикреплен. Так бывало до Никши доедешь, а там двенадцать километров идешь – собрание проводить.

Господи помилуй, такой путь пешком проделать, такие муки претерпеть, чтобы сказать людям все, что им и без него известно. Собрание проводить...

Застреваем. Ни надсадный рев двигателя, ни бешеное вращение руля – ничего не помогает. Коричневая грязь летит из-под колес и наш многострадальный уазик садится все глубже. Вылезает, проваливаясь по колено, прицепляем трос к задней машине.

– Рывочком!

С третьего рывка выползаем.

– Это еще ничего. Никша впереди.

Я уж с тревогой жду эту Никшу. Оказывается, небольшая речушка. Перед мостом гигантские колеи подернуты желтой водой. Кудряшов идет вперед, осторожно промеряя ногами глубину.

– Сережа! Давай пилу.

Мы со Свищевым валим поодаль от обочины небольшие ветлы, рядом с дорогой все спилено – только пеньки торчат. Остальные обрубают ветки, кидают в воду стволы, прыгают на них, проверяя прочность, словом, гатят дорогу. Кудряшов сам садится за руль и осторож-

ненько, ювелирно вращая баранку, переезжает. Похоже, что он в своей стихии – возбужденный, вспотевший, без плаща и пиджака – в одной рубашке.

Считаем, сколько ж надо денег, чтобы все центральные усадьбы соединить асфальтом с райцентром – двадцать два миллиона. А все капвложения района за пятилетку – миллионов пять.

Включили радио. Поплыли звуки Вивальди. Скрипки рвали душу сладкозвучным ладом, старинной гармонией с миром. А за окном машины все то же – чудовищная дорога да появившийся рядок заброшенных изб.

– Была деревня Рылово и нет ее, – вздохнул Кудряшов. – Восемь пустых домов стоят. Растаскиваем помаленьку.

А как в прежние времена здесь ездили? И напоминаешь себе: не было ж тяжелых машин, что рвут сейчас дорогу в клочья. Лошадь с повозкой проходила, не оставляя таких страшных следов. В свой срок земля подсыхала. Современная-то техника требует и путей современных – бетона, асфальта. А то трактор из двадцатого века, а дорога – из девятнадцатого.

Перед Ананьевым Починком – первой деревней, входящей в колхоз «Рассвет», послышался шум трактора. Из высокой кабины выпрыгнул крепкий веселый пожилой мужик, похлопал Кудряшова по плечу.

– Велено, Александрович, тебя встретить. А то застрянешь ты у нас.

Поехали вслед за трактором. Спокойнее стало.

Ананьев Починок. На высоких подклетьях с небольшими окошками, бревенчатые, тусклые от дождей и старости дома. Кое-где наличники подкрашены – значит, живут. Иные заколочены, а то и крыша уж провалилась. Коровник с распахнутой дверью. Однако мы уже около четырех часов в пути. Двадцать два километра одолели. Ох, дорожка-дороженька!

Монастырскими руинами замаячила Слобода – центр «Рассвета».

– В тридцатые годы здесь хороший колхоз был, богатый, луга какие заливные. «Власть советов» назывался, – сказал Кудряшов. – Тут ведь через реку на лодке переправился, час по шоссе – и Кострома. А за рекой колхоз «Сандагорский» к Костромской области относится. Крепкий, развитой, на дороге стоит.

– Давно уж разорился «Сандагорский», – вмешался Свищев, в соборовскую зону которого входили и костромские земли. – И народ оттуда бежит, даром что на шоссе стоит.

– Разве? – удивился Кудряшов. – А мы-то все думаем: за рекой – там жизнь.

Остановились на задах чьей-то усадьбы, помыли в луже сапоги. Из-за угла дома вышел ладный круглолицый лет сорока человек с хмурым лицом и озабоченными, какими-то тоскующими глазами. Молча пожал нам руки и также, слова не говоря, повел в новое кирпичное здание конторы. Это и был человек, на котором здесь все держалось, – председатель Николай Федорович Шаров.

Дальше ехать некуда

Колхозная контора. Две смежные комнаты, тесно уставленные столами. За одним щелкает счетами жена Шарова – Людмила Николаевна – и главный экономист, и секретарь парт-организации, и «жнец, и швец, и на дуде игрец». Так, во всяком случае, говорит Кудряшов, имея в виду, что Людмиле Николаевне приходится и заболевших доярок подменять, и в поле работать. Подтянулись в контору еще и два старика: бывший директор льнозавода, приехавший на тракторе теленка покупать, и некий любознательный местный пенсионер.

Вообще же никакого оживления и интереса у Шаровых приезд первого секретаря райкома с двумя корреспондентами центральной газеты не вызвал. Так бывает в самых лежачих колхозах, где всякая надежда на лучшее потеряна. Это у преуспевающего хозяина есть расчет на районного начальника – все что-нибудь выпросишь – и от газетной корреспонденции, если она не критикует, польза есть, бедному тоже многое в таких визитах небезразлично, а вот совсем уж лежащему – ему все равно.

Здесь же мы, похоже, находились на дне колхозной жизни, у последней точки реализации идеи, которую начали воплощать шестьдесят лет назад. Где-то там – животноводческие комплексы, дворцы культуры – вся казовая показушная сторона колхозной действительности, здесь – распахнутые ворота полуразвалившегося коровника, почерневшие от старости избы и у каждой второй заколочены окна. Дальше ехать некуда.

Все, о чем мы говорили с Шаровыми, подтверждало это ощущение дна, конца. В колхозе числится семь деревень, но, может быть, правильнее считать пять. Две практически вымерли. Число дворов – опять же как считать. По сельсоветовским спискам – 118. Но 39 из них – нежилые. Жителей – двести. Работников – четверть. Три четверти – старики, детей так мало, что школу уж лет пятнадцать как закрыли. Несколько ребятишек ходят зимой через реку – кто через Обнору в село Каргановодругого колхоза, а дочь Шаровых, перешедшая в десятый класс, – через Кострому в Сандагору, в другую область. Осенью девочка плывет на лодке, преодолевает метров двести водной глади, зимой – по льду. Весной же, в ледоход, приходится пропускать занятия. Припомнилось, как в фильме «Архангельский мужик» показали дочь героя этого фильма Сивкова, точно так же переправлявшуюся через реку в школу. Островная жизнь. Современные Робинзоны.

Эта робинзонада накладывает свой отпечаток и на производство. Главный его продукт – молоко – в сущности девать некуда. Был когда-то в незапамятные времена в Ананьевом Починке свой сырозавод – закрыли. Летом в самую молочную пору вези надои или в Любим на тракторах по тому пути, который мы только что преодолели, или опять же переправляй на лодке, когда высокая вода, через Обнору в колхоз имени Ленина, там есть приемный пункт. И в том, и в другом случае часто сдают, как говорят молочники, кисляк. А уж что мало его, – каждая из 180 коров дает в среднем 1760 килограммов за год (от хорошей козы можно получить больше тысячи литров) – про то уж и говорить нечего.

Колхоз, разумеется, по уши в долгах. Возврат шестисот тысяч рублей отсрочен до двухтысячного года. Никто всерьез этого срока не воспринимает. Какая отдача, из чего тут отдавать? За молоко государство доплачивает. Себестоимость литра – тридцать четыре копейки, а продажная цена – шестьдесят. От такой дотации хоть какие-то деньги в колхозной кассе заводятся. Но и это не вся помощь. Есть шефская. Ярославское объединение «Лакокраска» постоянно держит здесь своих людей. То корма заготавливать человек по тридцать наезжают, то сеной сарай строят. «Хотя и сами нищие, – заметил всезнающий Свищев. – Без жилья сидят».

Характерно, что при такой бедности и малой численности работников колхоз тем не менее копирует структуру управления крупных хозяйств. Из сорока восьми работающих – семь управленцев и конторщиков: агроном, зоотехник, экономист, председатель – все как у людей.

Постепенно мы начинаем подходить к цели нашего приезда.

– Ну вот снимут с тебя дотацию на молоко, как жить будешь? – спрашивает Кудряшов.

– Как жить? Да по миру пойдем, – отвечает Шаров. – Уже и сейчас на зарплату едва хватает. Мы, конечно, кое-что придумываем. Тут появились у меня люди с Кавказа, предлагают штaketник, черенки для лопат делать. Лесу-то много, пилорама есть. Пусть наладят дело, а потом мы и сами его перейдем. Хотя что-то заработать – скотный двор в Ананьеве построить, он совсем развалился, дороги малость оканавить да щебню подбросить. И все же без дотации – труба.

– Ты смотри поосторожнее с ними, с кавказцами-то. Как там по закону-то? Не влипнуть бы.

– Смотрю.

– Ну, а все же, – вступаю я в разговор. – Если бы вам предоставили самостоятельность. Что хотите, производите, где хотите, сбывайте. Как бы вы действовали?

Он поворачивается ко мне, но не смотрит в лицо, а уставился в пол, хмурится, морщины набегают на лоб, видно, силится понять, что же такое мы привезли ему.

– Что ж кулаком, что ли, становиться?

– Почему кулаком? Кулак это тот, кто, по меньшей мере, наемный труд применял.

– А кого потрошили в тридцатом?

– Да думай ты смелее! – прикрикнул Кудряшов. – Вся страна думает. Что дальше делать? Вон люди из Москвы приехали.

– А план у меня будет? – начинает расспрашивать председатель, мало-помалу принимая условия игры. – А дорогу построят?

– С дорогой, брат, сложно, – отвечает Кудряшов. – Сто десять километров надо строить по району. Двадцать два миллиона рублей.

– Не построят, – померкнув лицом, говорит председатель, – уезжать придется.

– Брось, брось, Николай Федорович.

– Да что там говорить...

И снова приходится выводить его из состояния безнадежности, снова втолковывать: речь о кооперативе – никто ему не диктует ни площади посевные, ни объемы. Что хочешь – производи – лишь бы съестное, не одни же черенки для лопат. Дорога со временем будет. Пока хоть маленький сырзаводик построить в колхозе, ведь был же он лет тридцать назад, понимали тогда люди – нельзя по бездорожью цельное молоко возить, сыр – иное дело.

Он снова оттаивает, откликается на наши прожекты, сначала недоверчивым хмыканьем, репликами, потом включается в разговор. Его одергивает жена, не отрываясь от счетов, кидает: «В кооперативе день и ночь работать надо, а у нас народ разбалованный», а у него уже разыгрывается постепенно воображение, начинает разливаться хозяйственная мечта.

Да, сыр это правильно. Масло убыточно, а сыр – дело выгодное. Мастера хорошего найти да оборудование... А пока хоть сепараторный пункт свой завести – свою первичную переработку молока наладить. В производстве же – зерновой клин сократить да на тех площадях семена трав начать выращивать, особенно клеверов. Какие здесь клевера были! На клеверном сене да на обмененных на семена концентратах иные надои пойдут. Не тысяча семьсот, а по три и больше тысячи килограммов. Значит, и коров сократить на треть по числу доярок, чтоб не шефам доить. С людьми же так – собрать в кулак лучших, которые действительно хотят работать, пусть их меньше будет, но чтоб люди, а не лодыри, пьяницы. Сейчас вон до чего дошло – просим: переселенцев – эков бывших, хоть их пришлите. Лен бы сеял, но не восемьдесят гектаров, а тридцать. Выбрал бы хорошие почвы, севооборот наладил, луга окультурил...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.